

Одинокий дом одинокого мужчины

*Не надо меня любить,
достаточно не огорчать.*

Ты ушла—не стало лишних слов!

Из переписки

После смерти жены и отъезда детей Самохвалов остался один в большом доме. Номинально он числился главой семьи, но здравый смысл подсказывал, что никогда он не был хозяином в этом доме, хотя в молодые годы вместе с тестем старательно выстроил его и прожил в нём с семьёй тридцать лет. Он всегда мечтал вырваться из семьи в холостяцкую вольницу, норовил пожить отдельно, старался избавиться, освободиться, уклониться от обязанностей, к которым его принуждал дом. Только всё это было не в реальной повседневности, а в регулярно разыгрываемом воображении Самохвалова.

И потому все вольные мечты ограничивались редкими недельными командировками и недолгими отпусками, большую часть которых он проводил, ухаживая за домом, выполняя тот минимум, который дом требовал от мужских рук.

Раньше здесь правила и царила жена, а он даже мусорного ведра не выносил. Их последний спор после десятилетия совместной жизни об этом накопившемся мусоре закончился неожиданным примирением. Тогда Самохвалов многозначительно, с нажимом сказал:

— Мужчина ничего из дому выносить не должен—только приносить. Понимаешь ты это или нет?! Всё в дом только приносить! А не выносить! Заруби себе это на носу!

— Ты кому это говоришь?—была готова к ответному прыжку жена.

— Тебе! И передай всем своим подругам эту правильную мудрость! Пусть больше не терзают своих мужиков этим мусорным ведром.

То ли уверенный голос Самохвалова, то ли угрожающие интонации, с которыми были произнесены эти слова, повлияли на супругу, но с того самого дня она смягчилась и отступила. Отступила навсегда, никогда больше не возвращаясь к проблеме мусорного ведра. Даже когда она уже болела—ведро с мусором безропотно выносила сама. Тем более что Самохвалов отличался от известных

ей по рассказам подруг других мужей тем, что нёс всё в дом, всё для семьи, в том числе и для неё персонально. Золотых гор, конечно, не было, но всё в пределах разумных бытовых фантазий того времени выполнялось.

После смерти жены дети попытались всё переставить и переиначить в доме на свой лад, по своему усмотрению и представлению, но как-то эти перестановки не заладились, пошли наперекосяк, начались споры, ссоры, претензии, и лёгкая на подъём молодёжь предпочла уехать из дома, из города.

Когда Самохвалов остался один в доме, он всё вернул назад, как было при жене. Даже мусорное ведро старенькое нашёл, а новое, которое успели завести дети, отправил в кладовку. И хотя с первых минут дом принял этот шаг с благодарностью, но в целом по-прежнему относился к Самохвалову с прохладцей и подозрением.

Да и было за что: Самохвалов мог по выходным целый день ходить нагишом из комнаты в комнату, перемещаясь в основном от диванов к холодильнику, потом заваливаться спать и проспать двенадцать часов кряду, пока уже не пора было отправляться на работу. Он считал, что такой образ жизни демонстрировал его душевную сытость.

Иногда он надолго исчезал из жилища по своим личным делам, и тогда дом, наскучавшись в одиночестве, встречал его возвращение особенно недружелюбно. Уобоих с возрастом образовался тяжёлый характер, и они пытались друг другу доказать, кто из них главный. Но это ни у кого из них не получалось. Четыре года они приглядывались друг к другу, пытались договориться, но Самохвалов не выказывал особой любви, и дом отвечал тем же. Самохвалов особо стал чувствовать это по тому, что даже редкие женщины, что захаживали на чай, старались быстро уйти, покинуть дом, ощущая неприязнь чужого жилища. Да и сам Самохвалов не удерживал их больше чем на пару часов. Некоторые всё же порывались выполнить незатейливую домашнюю работу, но Самохвалов отнекивался.

— Не суетись, я всё уже сделал,—говорил он уверенно женщине, которая таким образом старалась зацепиться и остаться подольше в доме.

Женщина с обиженной улыбкой оглядывалась, замечала, конечно, мужскую неряшливость по углам комнат, но делала вид, что всё в порядке, тем самым, как ей наивно казалось, подогревая и теща мужское самолюбие. Самохвалов понимал, что дамы игриво подвирают, но спорить с ними не пытался. Он отличался нравом молчаливым, и если затевал разговор, то только по существу вопросов, причём сам определял, когда нужно было говорить и о чём. Пустословие презирал.

То, что дом был изрядно запущен без женской руки, особенно стало заметно, когда неожиданно приехала из другого города дочь, сбежавшая от постылой подёнщины на работе. Свой приезд обставила красивыми словами: «Люблю! Скучаю!» Распаковав дорожные сумки лишь наполовину, первым делом взялась наводить в семейном гнезде порядок. И дом тут же стал набирать свой свет. Зablестел всеми зеркалами, стёклами и металлическими предметами, открылся хозяйке всем своим внутренним содержанием, которое при Самохвалове притупилось и угасло. Дом принял заботу дочери всем домашним сердцем и преобразился до прежнего состояния, которое было при жене.

Расчувствовавшийся Самохвалов даже взялся за мусорное ведро, но дочь решительно остановила: — Я всё сама!

— Давай помогу, я же этим всегда теперь сам занимаюсь!

— Мужчина не должен ничего из дому выносить — только приносить!

— А ты откуда это знаешь? — остолбенел от неожиданности, узнав свои слова, Самохвалов.

— От мамы.

— А ты знаешь, кто маму научил?

— Теперь догадываюсь.

— Знала бы ты, какие в начале войны шли в нашей семье из-за этого пресловутого ведра с мусором, которое твоя мать норовила вытаскивать каждый день.

— Представляю!

— Нет, ты даже не догадываешься!

— Ну почему, папа? Насколько я слышала и знаю, все споры в современных городских семьях начинаются из-за выноса мусорного ведра. Это сейчас даже в телесериалах активно обыгрывают.

— Ты ж знаешь, я сериалы не смотрю, — Самохвалов после этих её разоблачительных слов как-то сник.

— Кстати, я помню, как вы с мамой ссорились.

— Я — ссорился?! — удивлённо вскинул голову Самохвалов.

— Мама ссорилась, а ты молчал. Всегда молчал.

— Да, я всегда молчал, — с гордостью произнёс Самохвалов.

— И в этом была твоя ошибка. Когда женщина хочет поссориться, с ней надо разговаривать. Лучше бы ты отвечал...

Разговор приобретал опасный характер, и Самохвалов постарался перейти на шуточный тон: — Ну, милая, насчёт умения женщины построить из ничего скандал и салатик мы, мужики, давно в курсе. Уже вошло в поговорки.

— Дурацкие ваши мужские шовинистские шуточки! — рассердилась дочь.

— Ну, ну, — вести диалог дальше Самохвалову расхотелось, и он пошёл по комнатам с ревизией — смотреть, каким стал теперь его дом.

А дом от дочкиных забот преобразился, оживился, повеселел, подмигивал отмытыми окнами, чего при Самохвалове никогда не было. И все дни, пока дочка жила с ним, он чувствовал эту неугасающую радость дома, который стал и Самохвалова принимать по-особому. Всё, что до этого не работало и барахлило, стало неожиданно работать, всё, что нужно было отремонтировать и не ремонтировалось уже несколько лет, было отремонтировано в одно мгновение, с какой-то не свойственной Самохвалову игривостью... Как-то быстро нашлись нужные запчасти и были поставлены на свои технологически законные места. Дом подчинялся одному только хотению и велению Самохвалова, хотя он никогда не отличался мастеровитостью. И в такой дом Самохвалова снова тянуло после работы, такой дом становился ему приятным, близким и родным. У него даже проснулось желание сделать ремонт. За разговором о ремонте дочь сообщила ему своё решение:

— Это, папа, уже без меня. Я купила билет на поезд. Послезавтра уезжаю!

— Уезжаешь? — сначала Самохвалов как бы расстроился. — Странно ты как-то себя ведёшь: то неожиданно приехала, то неожиданно уезжаешь.

— Ну, папа, дела зовут! Я же тебе тут только мешаю.

— Ты — мне? — Самохвалов даже удивился.

— Мешаю, мешаю! Я же вижу, как вокруг тебя активная общественная жизнь застыла с моим приездом!

— Да какая жизнь у одинокого вдовца?

— Ну, ну, не скромничай! Ты когда всё же жениться надумаешь, поставь в известность нас с братом. А то приедем вот так же, а тут чужая тётя.

— Твоего брата как раз это меньше всего интересует, — уклонился Самохвалов от темы.

— Очень даже интересует!

— А чего ж ничего не пишет, не звонит?

— Ну, это ты у него спроси!

Разговор как-то оборвался и до отъезда дочери больше не возобновился.

Самохвалову хотелось поговорить о своём будущем, но он знал, что всегда в семье всем командовали недомолвки и заправляли недоговорённости, которые, видимо, были привиты им же и подхвачены другими членами семьи. И теперь он сам от этого страдал.

Дочь уезжала поздно ночью. На перроне они решительно обнялись, поцеловались, и дочь быстро села в вагон. Не дожидаясь отправления поезда, Самохвалов ушёл. Жил он недалеко от вокзала и домой вернулся пешком. Повернул ключ в двери, переступил порог и сразу почувствовал, что в доме кто-то есть. Обнаружил это каким-то внутренним обострённым чувством, которого раньше за собой не замечал. Самохвалов снял обувь, обошёл быстро все комнаты, открыл все имеющиеся двери, заглянул во все углы, даже вышел на скромный балкон. Но никого не было. А Самохвалов всё же продолжал ощущать, что в доме кто-то затаился и ждёт. Чего ждёт, Самохвалов не знал. Но что кто-то, пока он провозжал дочь, пробрался и поселился в его жилище, Самохвалов ощущал.

Быстро раздевшись, он юркнул под тёплое одеяло, обдумывая новое для себя положение в доме, и уснул. Ему снились всякие разности, содержание которых невозможно разгадать логичным мужским умом. Последнее, что ему запомнилось из утреннего сновидения, так это дом, в котором была ещё жива жена, и этот дом, мало похожий на их прежний, у него на глазах провалился глубоко под землю. Он видел отчётливо, как вокруг места трагедии собрались спасатели, но его не пускали к провалу. А он спокойно смотрел на всё это и говорил, что это его дом, он его строил, это его имущество, и там осталась жена. К нему подвели врачей, но, увидев, что Самохвалов ведёт себя неадекватно, они не знали, что с ним делать. Потом во сне появились дети, и теперь вместе с ними Самохвалов стал искать жену в гостинице, куда переселили всех пострадавших. Они знали, что где-то в комнате на пятом этаже поселили их маму. И дети вместе с отцом шли по ступенькам и лестничным маршам, но всё время куда-то попадали не туда, и так всю ночь проискали, но не встретились с мамой. Дети спрашивали: «А ты точно знаешь, что она здесь?» Самохвалов уверял, что точно знает, что видел её в окне, она махала ему рукой. Но попасть к ней в номер они так и не смогли.

Утром Самохвалов долго обдумывал свой сон, искал значения. Он уже знал, что сон хороший, что жене там хорошо, и она не зовёт их к себе, даже избегает с ним встречи. Это был старый повторяющийся сон, новое в нём было только то, что дом провалился. Но Самохвалов это отнёс к тому, что смотрел недавно по каналу «Культура» кино про землетрясения. И поэтому сон его больше не беспокоил.

А беспокоило его чужое присутствие в доме— оно оставалось, оно подавало сигналы, оно волновало Самохвалова, заставляло менять линию поведения. Он сел за обедать, и оно уже сидело за столом. Он брался стирать, и оно было под рукой. Вместе они активно пылесосили, читали, разговаривали по телефону. Кстати, когда он разговаривал

по телефону, то оно стояло рядом и настойчиво требовало прекратить разговор. Нет, оно ничего не говорило, оно вызывающе молчало! Ему не нравилось, что Самохвалов был занят с другими, а не с ним. И когда он поспешно клял трубку, оно успокаивалось, и в доме воцарялось благополучие тишины звенящей. Нет, оно не спорило с Самохваловым, не устраивало сцен ревности, ничего не запрещало. Оно просто укоризненно молчало. И от этого Самохвалову становилось как-то особенно не по себе.

Оно любило смотреть телевизор: в это время оно его не беспокоило, а вело себя сдержанно, только изредка одобряло выбор телепередач. В доме было тихо, а если звонил телефон, то Самохвалов к нему не подходил: дескать, дома нет никого,— а смотрел в голубой экран телевизора. В нём можно было увидеть всё, а потом, перед сном, обсудить с ним всё, что видели вместе за вечер. Оно с удовольствием слушало комментарии Самохвалова обо всём увиденном по телевизору и говорило: какой ты всё-таки умный, ну надо же, и никто этого не ценит, кроме меня. Под аккомпанемент таких приятных слов, которые в его голове звучали знакомой музыкой, Самохвалов засыпал. Засыпал с одной и той же мыслью: как хорошо было бы больше не проснуться,— и эта мысль растекалась приятной истомой по всему телу, которое хотело только продолжительного отдыха от всего, что находилось за пределами их общего дома.

Гуманный донжуан

Он сел в такси четвёртым. По дороге, как часто бывает, завязался разговор на женскую тему, которую раскрутил таксист— молодой трепливый блондин, который только-только открыл свой донжуанский список и готов был врать с три короба. Житейская философия подобных проста: все женщины мира только и заботятся о том, чтобы наставить рога супругам с такими бойкими и ловкими ребятами, как наш таксист. А поскольку в такси подобралась компания мужская, то разговор был поддержан. Чего-чего, а бахвалиться своими сексуальными успехами, расцветивая их картинками, мужики любят. Нашего шофёра интересовало больше всего, сколько у нас было женщин.

— У меня было шесть жён,— сказал тот, что сел в такси последним.

— Всего?— рассмеялся признанию шофёр, призывая нас поддержать иронию.

— А ты считаешь, шесть раз жениться— это так просто?— заметил ему невозмутимо пассажир.

— Да я не про женитьбу, а про свободный ход!— и водитель стал хохотать пуще прежнего.

— Я так не умею,— откровенно признался пассажир.

— Подожди, подожди,— вмешался я в разговор,— ты действительно был шесть раз женат?

— А что, нельзя? — в голосе собеседника послышалась нотка обиды.

— Да ты врешь. Тебя загс больше трёх раз не пропустит. У них по этому поводу указания имеются, — закричал шофёр.

Тогда пассажир молча полез в сумку, вытащил паспорт и подал мне.

Я развернул его на девятой странице, где графа «Семейное положение».

Пересчитал.

— Ну что там? — не унимался шофёр.

— Всего три женитьбы, — посмотрел я удивлённо на обладателя паспорта.

— Правильно, в паспорте на женитьбу отведено две страницы, ты полистай дальше, — невозмутимо заметил тот.

Я перелистал и действительно в конце паспорта обнаружил ещё три отметки о семейном положении. Судя по паспорту, пассажир был холост.

— Он, братцы, шесть раз был женат и опять свободен! — доложил я честной компании.

— О, небось жениться надумал? — тут же насл водитель.

— Ты прав, задумал, — сообщил как о чём-то обыденном пассажир. — Вот сейчас к ней и еду.

— С ночёвкой? — сразу затянул свою песню водитель.

— Нет, я до женитьбы в такие игры не играю, — отрезал пассажир.

— Во даёт! — распетушился парень. — Ты у нас гуманный донжуан? А сколько у тебя детишек?

— Бог миловал, через одну — всего три. Я не признаю, как ты тут рассказывал, похабщины. Я если женщину люблю, то хочу, чтобы всё по-честному было, чтобы она зла на меня не держала.

— Через загс, что ли? — не утерпел шофёр.

— Да, через загс.

— А потом другую полюбил — и всё снова?

— Да, снова!

— Ну, знаешь — крыша едет от такой честности.

— Это твои проблемы, — первый раз улыбнулся пассажир.

— Разводился со скандалами? — поинтересовался я у опытного человека.

— Нет. Меня женщины всегда с миром отпускали. Они мне верили и понимали. Я ведь не ленивый человек, не жадный. В чём был, в том и ухожу, а всё нажитое оставляю. Да и потом не обижаю. Они у меня, между прочим, недолго дуют — все замуж выходят.

— Так это какие бабки зарабатывать должен, чтобы всю ораву прокормить? — удивился водитель. — Врешь небось, покрасоваться хочешь: вот какой я необычный.

— Что мне перед тобой красоваться? Красоваться надо перед женщиной, которую любишь. Стой, стой, — неожиданно прикрикнул он, — мне на углу останови. Я прибыл.

Посмотрев на счётчик, полез в карман за деньгами.

— Не надо денег, считай, я тебя даром довёз! — махнул рукой таксист.

— Я к дармовщине не привык, — протянул деньги пассажир, но, увидев, что водитель не берёт, положил рядом с ним. — За чужой счёт жить не приучен.

Пассажир вышел, а машина тронулась дальше. Водитель продолжал хохотать, всячески обзывая случайного попутчика. Но никому разговора подерживать не хотелось. Как-то всё переменялось в салоне. Гуманный донжуан что-то неуловимое оставил в атмосфере, словно невидимый запрет наложил на тему. Так она и угасла до того, как мы рассчитались за проезд и разошлись каждый своей дорогой.

Каждый раз, когда я рассказываю людям об этой встрече, меня обвиняют в том, что я всё придумал. Мужчины наотрез отказываются верить, и только отдельные женщины соглашаются, что такое иногда может быть.

Второй ужин

Муж за столом говорит жене:

— Дорогая, отличные грибки! Откуда рецепт?

— Из детектива

Семейный анекдот

Славин добрался домой лишь в десятом часу вечера. Весь путь он сладостно вспоминал в мельчайших деталях четыре часа, которые провёл с любимой женщиной. Три часа в постели и час за ужином при свечах (дамы почему-то обожают свечной запах), хотя Славина от сладковатого запаха слегка подташнивало.

Позвонив в дверь квартиры на восьмом этаже, Славин усилием воли вернул лицу маску трудовой усталости и приготовился традиционно поцеловать жену в щёчку. Но жена встретила его по-деловому сухо, не обронив ни слова, тут же ушла на кухню. Такой приём Славина насторожил, но он счёт его даже удачей. Меньше вопросов — меньше ответов, по которым женщина может вычислить всё, что угодно. А тем более жена Славина, которая преподавала в школе математику и отличалась научной прозорливостью и житейской проницательностью.

— Ужинать будешь? — услышал Славин вопрос жены с кухни.

— Ужинать? — Славин задумался. Вспоминая свой недавний ужин при свечах, хотел сначала отказаться, чтобы не растерять приятные воспоминания, но, как все двадцать лет семейной жизни, на автомате сказал: — Буду!

— Тогда мой руки! — командирским тоном приказала жена.

В ванной Славин, перед тем как взять мыло, понюхал руки — они пахли любимой женщиной.

Причём пахли так сильно, что Славин испугался разоблачения, быстро разделся и полез под душ. Горячая вода смывала с него остатки эротических воспоминаний.

— Чем кормите?—весело спросил он, выходя из ванной.

— Картошка с мясом—твое любимое блюдо,—напомнила жена.

— Насчёт мяса сильно сказано,—подцепив разваренную тушёнку, заметил строго Славин.—Тушёнка, моя дорогая жена,—это всё-таки не мясо.— Чем богаты!—не поддержала иронии мужа супруга.

— А что у нас новенького?—решил изменить тему разговора Славин.

— У нас, дай Бог каждому, всё по-старому, а вот в семье Дроздовых—не дай Бог никому!

— А что такое?—посмотрел на жену вопросительно Славин.

Дроздовы—это семья его младшего брата, и если у него проблемы, то автоматически они становятся проблемами старшего брата.

— Милка выяснила, что Андрей гуляет...

— Как выяснила?—запинаясь, спросил Славин и, тут же догадавшись, что вопрос поставлен некорректно, уточнил:—Что значит гуляет?

— Что значит гуляет—понятно и без ответа. Завёл себе любовницу, если ты этого не знаешь. Это же ваша любимая поговорка: каждый мужчина имеет право на лево!

— Не надо так шутить!—не поддержал иронии жены Славин, тем более что он был не в курсе амурных дел брата и ему не надо было изображать неискренность.—Откуда мне знать об Андрее? Мы видимся раз в месяц.

— Проехали! А вот как выяснилось—тебе интересно знать?—продолжила жена свой рассказ.

Андрюха засыпался на чепухе. Возвращаясь по вечерам домой с работы, братец частенько отказывался от ужина. По жизни Андрюха был поджарым, но поесть любил. А тут его жена Милка заметила: вторая неделя, а её мужчина от ужина отказывается. За стол садится, но поковыряет вилкой еду и отодвинет тарелку в сторону. Невкусно? Вкусно, но не хочется. На работе неприятности?—наседала с вопросами Милка. Всё нормально. Так и не смогла добиться она от Андрея вразумительного ответа. Прибежала к жене Славина—своей лучшей подруге. А та математическим умом с ходу предположила: а может, у него баба завелась? И если так, то известно: прежде чем в постель мужика тащить, надо его хорошо накормить. Да брось ты, машет рукой Милка, мы с ним регулярно. В каком смысле регулярно?—не унимается жена Славина. И только после этого прямого вопроса задумалась Милка, что уж которую неделю регулярность стала иной, всё реже и реже Андрей исполнял супружеский долг, а если у Милки не было настроения,

то охотно соглашался пропустить удовольствия. Растревоженная этим подозрением Милка решила проследить за мужем. И уже на следующий день установила, что подружка у Андрея имеется. И кормит, и услуги интимные оказывает.

— И что Милка?—медленно пережёвывая ужин, как можно равнодушнее спросил Славин.

— Милка нормально, а вот твой братец лежит с поцарапанной мордой, отвернувшись к стене,—сообщила с каким-то злорадством жена. И, уловив тень страха на лице Славина, хладнокровно продолжила:—Ворвалась Милка на их разгуляй-малину, побила посуду, растрепала волосы этой проститутке, а в конце набила морду твоему братцу. Ты же её знаешь!

— Знаю!—выдавил из себя Славин.—А что же будет дальше? Развод?

— Нет, ужинать будет теперь по вечерам дома,—с ехидной улыбкой произнесла торжественно жена.—А ты у меня чего так плохо ешь?

— Ну ты даёшь!—непритворно возмутился Славин.—Тут с братом такая беда!

— А никакой беды нет. Будет теперь дома лучше ужинать. А ты ешь, ешь!—жена поднялась и ушла в спальню.

...Славин молча доел картошку с тушёнкой и отправился следом, где под личным одеялом, натянутым под самый подбородок, уже почивала супруга. Раздеваясь, а Славин любил спать голым, он увидел своё тело в зеркале. По два ужина в день его склонная к полноте плоть не выдержит. И Славин тревожно подумал, что надо чаще исполнять супружеский долг или делать по утрам хотя бы лёгкую гимнастику, хотя лучше и то, и другое, но где набраться сил?.. Нырнув под одеяло, Славин запустил руку на женину половину кровати, убеждая себя, что нужно обязательно по утрам заняться бегом...

Лопата

Утром из окна кухни Степан Семёнович Пшеничков увидел, что в огороде стоит лопата. Инструмент с коротким черенком одиноко высился на заснеженном поле, глубоко проникнув штыком в мёрзлую землю, подавая слабый, почти неуловимый сигнал, что находится не на своём месте. Степан Семёнович удивлённо рассматривал лопату, перебирая в мыслях, как она там могла оказаться, и медленно, медленно, перекачиваясь с одной думки на другую, вдруг споткнулся о главное: лопату оставила в огороде Тамара Ивановна.

Это воспоминание обожгло слезами глаза, в которых тут же помутилось, подрезав весь белый свет, а Степана Семёновича отшатнуло в сторону. Чтобы не упасть, он опёрся руками на обеденный стол и до детали вспомнил всё-всё, каждый из семи дней, которые он прожил без жены: как скоростно она умерла, как набежали соседи,

подъехали друзья, прилетели из далёких городов дети, а потом в единой похоронной процессии шли за гробом до самого кладбища, густо заросшего молодыми деревьями. Кладбище было старым, разбитым некогда в лесном массиве. А теперь молодая поросль брала своё, стараясь стереть с лица печального места уныние, вернуть изначальную красоту, поглотив могильный траур красножёлтой осенней весёлостью юного подростка. И с активными зарослями лесного наступления уже никто не боролся, оставив на попечение природы судьбу кладбища.

Омытыми слезой глазами Степан Семёнович снова осмотрел лопату в заснеженном огороде. За эту неделю, что он прожил без жены, двор замело, укутало снегом, и расцветенная листопадом чернота осени уступила место снежно-небесному чистопаду, хотя за текущим годом ещё числился октябрь. Впрочем, ничего удивительного в этом не было: в здешних местах осень была коротка, и зима всегда приходила рано, не равняясь на календарь.

Степан Семёнович вялым движением снял с вешалки пальто, надел его, сунул ноги в валенки и пошёл к выходу. На крыльце его лицо обожгла солнечная свежая весёлость, от которой старым глазам делалось больно. Привыкнув к активной белизне округи, Степан Семёнович осторожно спустился с крыльца и пошёл в огород, где, сиротливо ссутулившись, стояла лопата. Он шёл неторопко, гребя ногами снег, набивая следами свежую тропку, вдыхая пронизывающий холод утра, который прочищал тяжело дышащую грудь старика.

«Странно,— думал он по пути,— как это раньше я не замечал лопату в огороде?»

Степан Семёнович и Тамара Ивановна прожили вместе пятьдесят два года, и в их семье прагматично планировалось, что раньше умрёт по состоянию здоровья муж. Тамара Ивановна всегда старалась пресекать этот бесконечный разговор о грядущих похоронах, который с годами возникал между ними всё чаще и чаще. Но Степан Семёнович относился к нему с ответственной серьёзностью и, не обращая внимания на возражения супруги, каждый раз давал всё новые распоряжения, ежели ему будет суждено умереть прежде. Но вышло так, что первой ушла Тамара Ивановна. Умерла на ходу, на бегу, в заботах между кухней и огородом, который она в последние дни старательно копала, готовя землю, как она приговаривала, к зимней спячке. Копала усердно, всё боялась не успеть и потому лопату не убирала, а оставляла там, где заканчивала очередную порцию работы.

Степан Семёнович погладил ладонькой рукоять, которая была отполирована неутомимыми руками жены, не почувствовав ни одной шероховатости под дрожащими пальцами. И вспомнил, как пять лет тому назад по просьбе Тамары Ивановны

сменил сломавшийся черенок, позвал жену и торжественно вручил обновлённый инструмент. Тамара Ивановна потёрла рукавицей по свежему дереву, потом несколько раз копнула лопатой землю и молча кивнула, одоббив работу мужа. Степан Семёнович напряг память, попытался ещё что-то вспомнить из истории лопаты, но тут его окликнул сын:

— Папа! Ты что там стоишь?

— Да вот лопата осталась...

— Что с ней делается?

— Мать копала огород и не докопала.

— И ты собираешься сейчас копать?

— Копать? Нет, копать уже поздно. Просто лопата стоит тут, и я вот думаю...

— И пусть она там стоит, потом уберём.

— Убирать не надо,— осенило Степана Семёновича.— Пусть стоит здесь.

— Да пусть стоит, никому не мешает,— согласился сын.

— Только не убирайте,— настаивал Степан Семёнович.

— Да никто её не уберёт!— успокоил отца сын.

— Пусть так и стоит, а я весной докопаю,— принял решение Степан Семёнович и впервые после смерти жены почувствовал рядом с собой присутствие Тамары Ивановны.

Какой-то успокаивающей надеждой откликнулась его душа на согревающую мысль, что она никуда не ушла, пока стоит в огороде её лопата, пока осталось незавершённым её дело, которое сможет закончить только Степан Семёнович.

Воспоминания бога

Продолжение преследует...

Цитата из романа

— В тебе смесь Дон Кихота и Бога,— сказал я ему однажды.

В тот момент он был польщён, но на следующий день пришёл ко мне рано утром и заявил:

— Про Дон Кихота мне не понравилось.

Эмиль Чоран. Признания и проклятия

Открыл глаза и стал сторожить мысль, которая этим утром пробудила его ото сна. Он хорошо помнил, что это была уютная, надёжно обжитая им во сне мысль, которую он до поры до времени прятал не столько ото всех, сколько от себя самого. Для того чтобы надёжно скрывать мысль, он и сам надёжно маскировался среди тех, кто умело читал мысли по глазам, и потому каким-то немислимым образом приучился жить с закрытыми глазами мертвеца. Но настало время легализоваться, даже если впереди ожидало Ничто.

Но мысль не шла и даже не стремилась наружу, она застряла где-то на полпути, цепко удерживаясь в сновидении, на краю которого он её терпеливо поджидал. Мысль как будто навсегда осталась там, где ей было уютно и раздольно, потому что именно

там она ощущала себя главной, справедливой и продуктивной.

А вместо важной мысли в голове теснились весть откуда прорвавшиеся второстепенные слова, которые избытком повторов разрушали её стержень. Эти слова всегда существовали в координатах его знаний как избранные цитаты из чужих размышлений.

Цитат этих он знал великое множество, но в первую минуту пробуждения ему было не до них. Здесь и сейчас было очень важно полностью, от первой до последней буквы, а также звуков, продумать себя самого своими словами, лишь после этого он сможет проснуться, встать на ноги и начать новый день творения.

Но чужое душило, парализовало волю осмысленного до безгоризонтальных краёв, мешая выйти наружу родному и очень важному, спотыкаясь о слово «который». И тут он ни с того ни с сего вспомнил, как вполне способный к сочинительству Илья Ильич Обломов бросил создавать послание, когда запутался, дважды повторив слово «который» в одном предложении, и, не справившись с этой трудностью русской письменной речи, решил ничего не писать далее. Впрочем, всё-таки он писал и после этой неудачи, но недовольство от неуклюжего «который» преследовала его.

Ох, если бы Лев Николаевич Толстой был человеком по-настоящему самокритичным, то, прочитав историю Обломова, принял бы его терзания близко к сердцу, и мировая литература лишилась бы классика, ведь у него из непроходимых «которых» городился просто частокол лингвистический.

Впрочем, равняться на Толстого пишущему человеку смешно, потому что, равняясь на кого-то из значительных, можно их только неуклюже пересказывать и перепевать. Быть вторым Есениным, Пушкиным или Толстым не только постыдно, но и унижительно для сочинителя, поскольку вторичность предполагает прямую дорогу в Ничто, где нет знаний даже о Боге. Ведь уже сказано до нас: «Не существует религии там, где нет разума», а там, где действует человек, всегда «высшее служение Богу есть приобретение знания». Поэтому Бог всегда требует не веры, а знания.

Равняться разумно на слово не земное, а небесное,—пришёл он к неожиданному для себя выводу. Надо всецело равняться на божественный глагол Иисуса Христа, но не как носителя веры христианской, а как поэта, литературные достижения которого дошли до нас, к сожалению, только в виде пересказов Его учеников.

А если даже пересказы столь значительны и велики, то что в первоисточнике, которого мы так и не узнаем? Вот истинный образец для подражания. Слова этого он в повседневной жизни избегал, но на этот раз не смог найти ему адекватную замену и остановился на нём: подражать так подражать.

Бог создал мир целым, единым и неделимым, а потом, как какой-то человек разумный, разрушил его мелочами. И от этой мысли становилось невыносимо больно.

Но сильнее всего пугало, что его современная жизнь всё больше и больше протекала на грани художественного вымысла. Человеческая биомасса стремилась быть похожей на героев из кино. Люди так же одевались, они говорили о том же, они вычитывали из книг свои мысли, они внимательно рассматривали себе подобных по телевидению и мгновенно распространяли себя по Интернету. Если ещё сто лет тому назад люди в вымышленном мире искусства отличались от реальных, то сегодня реальность стала абсолютно тождественна художественному вымыслу.

На днях он разговаривал с современником, который стал чаще задумываться о своём будущем, которое (ну куда от этого слова не деться!) наваливается на него тяжёлыми проблемами забот о родственниках. И он поставил перед собой простой вопрос: а оно мне нужно? И сам себе вполне разумно отвечал: нет! Но проблемы наступали, заставляли думать о них, и от них он впадал в печаль отчаяния. А я сказал тогда себе и людям, что в нашем возрасте, когда идёт шестой десяток, главные события жизни уже состоялись, а всё остальное — по/ж/дёнка.

К чему это? Великие дела, если они были, уже прошли, ничего значительного уже быть не может. Разве что напишется парочка-другая добротных строчек и отыщется для них в интернет-месиве ещё один читатель, что обеспечит пару радостных минут. А в принципе каждый должен быть уже готовым и других приучать к мысли, что разумно пройти по жизни незамеченным, как учат китайские мудрецы и как живут миллионы русских людей, даже не ведая об этой мудрости Востока.

Впрочем, он твёрдо знал: у него было нетворческое воображение. Оно никогда не собиралось в единое целое, а распадалось на детали, способные сконцентрироваться только на точке, за которой начиналось Ничто. То самое Ничто, где даже Бог не может прижиться под пристальными взглядами тех, кто боится заглянуть за точку.

Это как неспособность большинства людей к любви: не умея предаваться ей, они охотно проговаривают вслух и продумывают её мысленно. Это их удел слов и мыслей о любви, о которой на самом деле они не имеют никакого представления. Большинство людей плохо ориентируется внутри себя. Отсюда и все проблемы душевного дискомфорта, который развивается от отсутствия подлинных и важных мыслей.

Но это было совсем не то,—вдруг спохватился он. Мысль, родившаяся ночью, оставалась равнодушной к его терзаниям и самостоятельно не покидала расположение сна. А он не мог её вывести

из лабиринта подсознания наружу, чтобы тщательно продумать в реальности и с её помощью завести с полуборота, начав нанизывать в уме свои слова, которые разгонят чужие, загасканные от частого употребления, отвлекая от главного.

Так, с цитатами в голове, он провёл в постели час, другой, весь день, пока не уснул ближе к ночи, без конца повторяя банальную фразу, что в начале было слово, и это слово — Бог дезинформации. Он не мог вспомнить, откуда это к нему пришло, из какой книги, но догадывался, что из очень старой, раз даже название её затерялось в череде его нескончаемых снов.

Он хорошо помнил то время, когда книги перестали быть событиями. Их накопилось так много, что они уже воспринимались однообразным непрочитанным потоком отпечатанного материала, как те же продукты питания, которых стало великое множество. Поэтому новые книги никого уже не перепаживали, мысли и образы были рядовыми и больше похожими на цитаты и перепевы из той же Книги книг.

Это было время, когда перемывать косточки Богу стало любимым занятием человечества. Высказываемая публично мысль о том, что религия — это бизнес, который к Богу не имеет никакого отношения, стала общим местом. Человечество этим бизнесом занималось всю отведённую ему сознательную историю, свободную от трудов праведных. А поскольку такое время у всего человечества было ограничено, то это поручили специально обученным людям. Их звали, по старинной традиции, то Сократом, то Ницше, в зависимости от того, чьи цитаты в историческом обиходе превалировали в системе координат знаний человечества.

Кто хочет блага для всех, вынужден совершать зло против каждого — внушили людям эти мыслители, и им поддакивал Гёте. Но при этом не забывали мысленно добавлять: что бы ни случилось на земле, в райских кущах по-прежнему будут радовать праведников, а в аду — мучить грешников. Значит, и человек бессилён без Бога, и Господь без человека ничто?!

Если вы разговариваете с небом, то это молитва. Если вам кажется, что небо разговаривает с вами, то это шизофрения. Трудно упомянуть, кто так здраво рассудил, но точно известно, что некоторые поэты самонадеянно утверждают: это не они пишут стихи, а Господь Бог им их диктует.

Бог диктует?

«Я никому ничего не диктую. Человек, который возомнил себя поэтом, сам должен расслышать в себе слова Изначального. Иногда Я допускаю, что умершие поэты забавляются этим: нашёптывают здравствующим рифмы. Особенно любят этим заниматься в России Пушкин и Есенин. И это у них неплохо получается. К тому же это их забавляет. Я не возражаю: поэты до конца не высказались

при жизни, значит, имеют право продолжать свой разговор устами других. Но многим поэтам никто ничего не диктует. Им бы стоило заткнуться».

Откуда эта цитата? Неизвестно, но звучит она как слова Господа! Кому и когда Он это говорил? Неизвестно.

А человек в провинции всё ещё пишет. Пишет если не каждый день, то через день, а может, и через месяц, повторяется, возвращается, думает разное, а по сути — вынашивает на бумаге одну и ту же мысль. В России, между прочим, так и можно — думать одну-единственную мысль, это всецело продуктивно. Вот и сейчас, лёжа в постели, он повторял, что нужно вспомнить и думать одну важную мысль.

Кто хотел творить благо, тот готовился совершать зло и воспитывал в себе волю к власти, волю к победе. Но в двадцатом веке потребовалось новое проявление воли — воли к разочарованию. Разочарованию итогами чужих и особенно своих побед, а также достижений власти.

Он знал, что должен думать именно эту одну-единственную мысль, ведь вторую он уже не в силах вытянуть. Да это и опасно — думать несколько мыслей кряду: мало того, что ты будешь заподозрен в неблагонадёжности, тебя привлекут за перерасход собственных мыслей, и тогда тебе не хватит времени жизни, чтобы продумать её обстоятельно и довести до людей в виде уже готовой цитаты. Не случайно многие философы за сто пятьдесят лет усвоили только то, что Бог умер. Правда, тут же выяснилось, что Бог проснулся. Ведь то, что Ницше воспринял как смерть, оказалось всего-навсего продолжительным летаргическим сном, во время которого люди ощутили громадный дефицит Бога.

Поэтому заново появились вопросы. Где Бог? Чем Он занят? Как к Нему записаться на приём? Это правильные вопросы, которые Бог слышит по сто миллионов раз каждый день. Но при этом те же люди возмущаются, что Бог ни к кому не приходит. Они не понимают, что Бог ни к кому не ходит и каждому нужно идти самому. Только по пути к Нему можно убедиться, что Бог есть. Не случайно сильнее всех и больше всякого верит в Бога Дьявол. Поэтому и борется с ним всеми доступными ему средствами, искушая всех остальных тем, что призывает самоликвидироваться. Интереснее всего говорить не с Богом, Он — наше всё, а с Дьяволом: он — всё наше Ничто.

Если человек хотя бы только попытается корчить из себя Господа, то максимум, чего он способен достичь, — это разбудить в себе Дьявола. И уже не надо будет закладывать ему душу, он станет владеть душой бесплатно. Хотя есть люди, в которых и Бог, и Дьявол уживаются одновременно.

Порой людям бывает стыдно за свои слова, произнесённые вслух. Слова — пыль. На самом деле нужно стыдиться мыслей и помыслов в себе. Ведь слова, произнесённые вслух, мы всё же контролируем, а мысли в себе — никогда. Они мчатся, множатся, движутся по внутреннему пространству человека, превращаются в поступки, отвратительные поступки, и только тогда мы начинаем их стыдиться. Но поздно: стыдиться нужно мыслей. В себе и других. Вначале были мысли. Поэтому лежащий в постели облегчённо подумал, что:

Наедине с Богом человек равен Всевышнему.
Поодиночке оба бессильны.
Вместе, пока живы, — все бессмертны.
Но это уже известно было задолго до того, как кто-то попытался приписать себе авторство.
Поэтому, не придумав ничего нового, ощутив себя лишь слабым пересказчиком чужого, он снова погрузился в сновидение, куда, как ему казалось, всё ещё являются свежие мысли. А в пустоте пустот Ничто, куда он попытался выбраться из сна, ещё раз убедился, — мысли не живут!